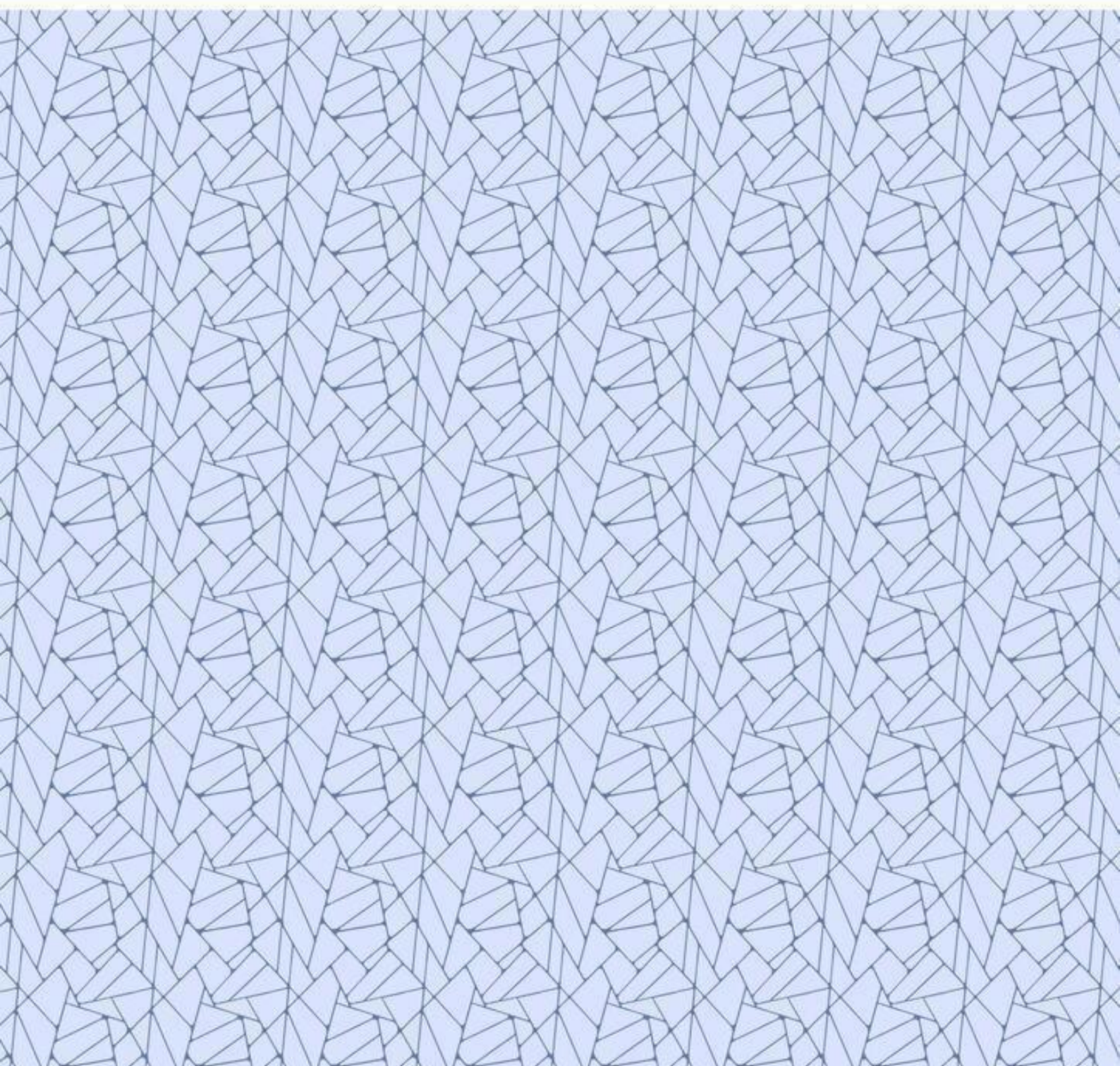


18+

ДИАНА ПЫЖИКОВА

Золотая гортань



Диана Пыжикова

Золотая гортань

«Издательские решения»

Пыжикова Д.

Золотая гортань / Д. Пыжикова — «Издательские решения»,

В центре сюжета — судьба русской певицы Каролины Романовой в элитарном лондонском Колледже Святой Цецилии. Это история о «хирургическом» подходе к искусству, где стремление к идеальному звуку буквально превращает людей в музыкальные инструменты. Центральная метафора повести — «золотая гортань» — символ абсолютного мастерства, за которое приходится платить собственной жизнью. Готовятся к выпуску следующие книги.

© Пыжикова Д.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Математика тишины	6
Глава 2. Диссонанс	11
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Золотая гортань

Диана Пыжикова

© Диана Пыжикова, 2026

ISBN 978-5-0069-9511-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Математика тишины

Сборы напоминали поспешное бегство. Комната Каролины, зажатая между кашляющей за стеной гостиной и вечно сырой кухней, за последние дни словно уменьшилась в объеме. Воздух в ней стал густым от запаха старой канифоли, лекарственного дегтя и пыли, которую никто не решался тревожить.

Их квартира в переулках близ Пречистенки напоминала старый, разошедшийся инструмент, который давно забыли зачехлить. Стены, оклеенные обоями цвета выцветшей горчицы, казалось, хранили в себе эхо всех неудачных репетиций и отцовских вспышек гнева. Потолок в гостиной был расчерчен трещинами, как партитура безумца, а тяжелые лепные карнизы осыпались мелкой меловой крошкой каждый раз, когда по улице проезжал тяжелый ломовой извозчик или когда Каролина невольно брала ноту выше второй октавы.

На дно фанерного сундука легла смена белья — застиранного, с тонкими кружевами, которые мать когда-то срезала со своих бальных платьев «прошлой жизни». Следом отправились три тяжелых тома партитур, перевязанных грубой бечевкой. Каролина коснулась корешка верхней книги — «Норма» Беллини. На полях ядовитым почерком отца были выведены пометки: *«Здесь не петь — здесь кровоточить»*.

Самым сложным было упаковать концертное платье из темно-изумрудного бархата. Когда Каролина снимала его с вешалки, тяжелая ткань отозвалась тихим, глубоким шорохом. В этот момент в груди снова шевельнулся «сорняк». Голос — этот чужак, поселившийся внутри неё вместо души — отозвался на движение ткани низкой, вибрирующей нотой. Каролина не открывала рта, но звук пошел по костям, и в серванте жалобно звякнула шербатая чашка.

— Тише, — приказала она тени в зеркале. — Не здесь.

В боковой карман сундука Лина спрятала коробочку с канифолью и старый камертон отца из неизвестного темного сплава. Он никогда не давал чистого «ля»; его звук был настроен под частоту человеческого страха.

Когда Лина вышла в залу, мать уже ждала её у порога. Аглая Степановна в свои сорок пять казалась высушенной, как стебель травы между страницами словаря. Когда-то её лицо называли «фарфоровым», но теперь этот фарфор покрылся сетью морщин, а кожа приобрела оттенок остывшей золы. Глаза её выцвели и постоянно слезились. Она вся состояла из суетливых движений, а её руки, пахнущие хозяйственным мылом, подрагивали, когда она пыталась поправить на Каролине воротник — этот жест был попыткой убедиться, что дочь всё ещё осязаема, а не превратилась в звуковую волну.

— Там, в Лондоне, туманы другие, Лина, — прошептала она. — Они тяжелые, соленые. От них голос садится. Ты пей теплое молоко с медом.

— Мама, маэстро Моретти прислал чек не за то, чтобы я пила молоко. Он купил мой голос. Весь, до последней связки.

— Я знаю, — Аглая Степановна вдруг замерла, и в её взгляде промелькнул суеверный ужас. — Я слышала тебя ночью. Ты не пела. Ты... гудела. Пыль на столе ложилась идеальными кругами, Лина. Это не от Бога. Это что-то... иное. Механическое.

Отец, Яков Маркович, сидел в глубоком кресле. Болезнь выпила его, оставив лишь каркас из острых костей. Лицо его стало почти прозрачным — сквозь натянутую кожу просвечивал желтоватый череп, а виски запали, образуя глубокие тени. Его некогда окладистая борода превратилась в неопрятный седой клочок, сквозь который виднелась исхудавшая шея с остро торчащим кадыком.

Особого внимания заслуживали его руки. Огромные, с узловатыми пальцами, они были инструментом высшей пробы. Под ногтями всегда виднелась серая пыль канифоли — след десятилетий работы с деревом. Теперь эти пальцы бесцельно перебирали бахрому пледа, будто

Яков Маркович всё ещё натягивал невидимую струну. В его взгляде не было нежности — только сухой, почти технический интерес создателя к своему самому пугающему творению.

Паровозы, эти стальные левиафаны, тяжело выпускали пар; их свистки взрезали пространство так остро, что Лина невольно закрывала уши. Для неё каждый такой звук был физическим ударом. Стрелки вокзальных часов двигались с сухим щелканьем, которое Лина слышала даже сквозь гул толпы.

— Помни, Лина, — отец сжал её ладонь своими костлявыми пальцами уже там, у самого вагона. Его некогда могучий бас истончился до свистящего шепота; каждый вдох был похож на работу ржавых кузнечных мехов. — Моретти не ищет талантов. Он ищет материал. Будь для него камнем, будь скрипкой, но не смей открывать ему, что у тебя внутри есть что-то, кроме связок.

Каролина смотрела на его испитое лицо. В кармане её пальто лежал чек от маэстро — сумма, равная двум годам жизни её отца в санатории Крыма. Её голос был продан ради его дыхания.

Они стояли у платформы, зажатые между горой чужих чемоданов и железной колонной. В этом огромном пространстве, похожем на железный собор новой веры, её родители казались крошечными. Мать оглядывалась, словно ожидая чуда, а отец замер, прислонившись к колонне. Его взгляд был прикован к паровозу — он смотрел на то, как поршни толкают колеса, с тем же болезненным восхищением, с каким смотрел на горло Каролины. Для него всё в этом мире было лишь набором рычагов и клапанов. Проводник в темно-синей ливрее с золотыми пуговицами вырос перед ней, как стена. Он не глядел на Лину — только на её билет, зажатый в подрагивающих пальцах. Короткий кивок, и он отступил, позволяя ей **пройти в вагон** международного класса.

Каролина обернулась. На перроне, в полосах серого пара, две фигурки — отец и мать — уже начали расплываться, превращаясь в нечеткие тени. Ветер взметнул подол материнского пальто, и Лине на секунду показалось, что мать хочет что-то крикнуть, но её голос был мгновенно поглощен грохотом сцепки вагонов. Железный рывок прошел по составу, заставив Лину качнуться и схватиться за медный поручень. Поручень был ледяным и пах полировкой. Через час Москва уже уходила из-под ног Каролины.

Когда поезд тронулся, Каролина долго смотрела на удаляющийся перрон. Ей казалось, что она оставляет в России не просто дом, а право на «неправильную», живую музыку.

Три дня в поезде стали для Каролины временем вынужденной немоты. В вагоне международного класса тишина была дорогой, почти осязаемой. Она сидела у окна, наблюдая, как весенняя грязь русских равнин сменяется опрятными, расчерченными под линейку полями Европы. Попутчики — пожилой бельгиец с вечно зажженной сигарой и дама в вуали, пахнущая увядающими фиалками — казались Лине персонажами немого кино. Она боялась заговорить, боялась даже громко кашлянуть, чувствуя, как голос внутри неё, лишенный привычного пространства их старой квартиры, раздувается, заполняя легкие тяжелым, горячим свинцом.

На пароме через Ла-Манш тишина закончилась. Море было серым и яростным. Каролина стояла у леера, глядя, как огромные валы разбиваются о борт, и этот рокот стихии внезапно вошел в резонанс с её «сорняком». Вода не глушила звук — она его требовала. Лине хотелось закричать в унисон со штормом, выпустить ту мощь, что копилась в ней годами, но она лишь крепче сжимала перила. Её пальцы в тонких перчатках онемели от соли и холода, а во рту стоял отчетливый привкус йода и железа.

На платформе вокзала воздух был таким плотным от желтоватого смога, что его, казалось, можно было жевать. Каролина вышла из вагона, прижимая к груди футляр с нотами. После трех дней мерного стука колес английская речь вокруг звучала как хаотичный скрежет металла.

Он стоял ровно посередине платформы, словно его установили там по уровню.

— Мисс Петрова? — голос прозвучал сухо, как треск ломающейся ветки под ногами.

Перед ней возник мистер Хамфри. Это был человек-метроном: безупречный черный цилиндр, воротничок, остро накрахмаленный до режущей кромки, и черный зонт-трость, который он держал под идеально прямым углом к земле. Его лицо казалось вырезанным из серого песчаника — ни одной лишней морщины, ни единого лишнего движения. Его глаза не моргали; они отражали холодный свет газовых фонарей, как два мутных зеркала.

Каролина невольно сделала шаг назад, но Хамфри не шелохнулся. Он не смотрел ей в глаза — его взгляд был направлен куда-то в область её горла, словно он оценивал не девушку, а механизм, скрытый под воротником пальто.

— Я экономай Академии. Маэстро Моретти ненавидит опоздания. Вы опоздали на семьдесят две секунды. Поезд прибыл вовремя, следовательно, задержка произошла при вашем выходе из вагона, — он произнес это без упрека, просто констатируя факт, от которого веяло могильным холодом.

— Я... мне было трудно... — начала Лина, но её голос в этом тумане прозвучал жалко и сипло.

Хамфри поморщился, как от физической боли.

— Не тратьте связки, мисс Петрова. Ваш багаж заберет носильщик. Идите за мной. И, пожалуйста, соблюдайте темп. Сто тридцать ударов в минуту. Это оптимальный ритм для перемещения по вокзалу.

Он развернулся на каблуках и пошел — не оборачиваясь, не проверяя, следует ли она за ним. Его спина была прямой, как линейная партитура. Каролина почти бежала следом, стараясь втиснуть свои шаги в его беспощадный, математический ритм. Она чувствовала: в этом городе всё — от секунд до вздохов — уже было подсчитано и внесено в чью-то гротескбух.

«**Черный лакированный футляр на высоких колесах** тронулся с места, едва за Каролиной захлопнулась дверца. Внутри было так тесно, что колени Каролины почти касались острых коленей мистера Хамфри. Пахло старой, въевшейся в обивку кожей и мятыми каплями. Из-за того, что кучер скрывался где-то позади и выше, на выносных козлах, создавалось полное ощущение, что карета несется сквозь туман сама по себе, управляемая лишь ритмичным перестуком копыт по влажной брусчатке.

За окном проплывала «гороховая овсянка» лондонского смога. Каролина видела, как в этой желтой взвеси тонут вывески лавок и силуэты прохожих, превращаясь в призраков.

— Город настроен на частоту сорок четыре герца, мисс Петрова, — Хамфри произнес это, не отрывая взгляда от карманных часов. — Это гул фабричных труб и поездов подземки. Если ваш голос не сможет перекрыть этот рокот, Академия вас переварит.

Каролина плотнее прижалась к себе футляр с нотами. Она чувствовала, как вибрация мостовой передается через пол экипажа прямо в её позвоночник. Лондон не был городом — он был гигантским метрономом, который навязывал ей свой, чужой и безжалостный темп».

«Лина прижалась лбом к холодному стеклу, пытаясь отыскать в памяти те крохи тепла, что когда-то назывались музыкой. Ведь раньше всё было иначе. Она помнила время — до болезни отца, до его одержимости «структурой звука» — когда пение было для неё естественным, как дыхание. В детстве голос казался ей солнечным зайчиком, который можно выпустить из груди, чтобы он заплясал по стенам их старой кухни. Тогда музыка была защитой, коконом, в котором мир становился понятным и добрым. Она пела, когда была счастлива, и ноты вылетали легко, без усилий, не оставляя после себя привкуса меди и страха.

Но постепенно отец начал «настраивать» её, как один из своих роялей. Радость сменилась дисциплиной, а чистое удовольствие — математическим расчетом. Он заставлял её петь одну и ту же фразу часами, пока звук не становился идеально острым, пока он не начинал вибрировать в самих костях, причиняя тупую, ноющую боль.

Теперь, в этом тесном экипаже, Каролина с горечью понимала: та беззаботная девочка, которая пела просто потому, что в её легких было много воздуха, осталась там, в заснеженной Москве. Здесь, в Лондоне, её голос больше не принадлежал ей. Он стал товаром, залогом, механизмом, который должен работать без сбоев. Она смотрела на свои руки и видела в них не пальцы пианистки, а рычаги, которыми Моретти будет управлять, чтобы извлечь нужную ему частоту. Радость умерла, оставив вместо себя лишь идеальную, холодную технику».

Экипаж остановился так резко, что Каролина едва не ударилась лбом о стекло. За окном высились чугунные ворота, чьи прутья напоминали струны гигантской арфы. Мистер Хамфри вышел первым, не подав руки, и Каролина, подхватив свой сундук, ступила прямо в лондонскую слякоть. Но стоило дверце кареты захлопнуться, как гул города — скрежет трамваев, крики газетчиков и ржание лошадей — внезапно смолк.

Внутренний двор Академии был выложен толстым слоем спрессованной пробки. Копыта лошадей и колеса здесь становились беззвучными, превращая реальность в кадр немого кино.

— Быстрее, мисс Петрова. Тишина здесь стоит дорого, не стоит нарушать её вашим топотом, — бросил Хамфри.

Они подошли к массивным дверям из мореного дуба, обитым листами почерневшей меди. Хамфри не постучал — он нажал на скрытый рычаг, и створки разошлись в стороны с едва слышным вздохом, словно здание выпустило застоявшийся воздух.

Холл Академии святого Цецилия напоминал внутренности колоссального механизма. Свет просачивался сквозь узкие, как щели, окна-бойницы, ложась на пол длинными серыми полосами. Здесь не было ни ковров, ни картин. Стены, облицованные матовым камнем, были испещрены тонкими медными трубками — они тянулись под потолок, сплетаясь в сложную сеть, похожую на кровеносную систему. Под куполом замерла люстра из тысяч хрустальных пластин; они висели неподвижно, но Каролина коснулась рукой своей шеи — она чувствовала, как хрусталь едва заметно вибрирует, улавливая ритм её собственного испуганного сердца.

В воздухе пахло озоном и старым воском, как в соборе перед большой службой. Вдоль стен на постаментах стояли странные приборы: стеклянные колбы с запертыми внутри камертонами и латунные диски, покрытые мелким песком.

— Это ловушки для диссонанса, — пояснил Хамфри, заметив её взгляд. — В этих стенах разрешены только чистые тона. Если вы позволите себе фальшивую ноту, песок на дисках придет в движение. Маэстро узнает об этом раньше, чем вы успеете закрыть рот.

Каролина невольно задержала дыхание. Ей казалось, что само здание слушает её, оценивает объем её легких и прочность связок. Здесь она была не ученицей, а деталью, которую привезли, чтобы встроить в этот огромный, холодный музыкальный станок.

В вестибюле Академии пахло озоном и чем-то неуловимо кислым, как в мастерских, где травят металл. На широкой мраморной лестнице, чьи ступени были стерты по центру поколениями певцов, Каролина заметила девушку.

Это была Бьянка. Она стояла неестественно прямо; её воротник-стойка из жесткого атласа подпирал подбородок так высоко, что взгляд казался застывшим на уровне потолка. В её облике не было ни капли юношеской мягкости — только сталь и пудра.

— Очередная «жемчужина» из варварских земель? — её голос, чистый и холодный, как лезвие бритвы, разрезал тишину холла. Бьянка не спустилась ни на ступеньку, глядя на Каролину сверху вниз. — Мой тебе совет: не надейся здесь петь. Здесь тебя будут перестраивать. По винтику. По связке. Пока от тебя не останется ничего, кроме функции.

Кабинет Моретти встретил Лину полумраком и тиканьем десятков приборов. Он напоминал не то лабораторию алхимика, не то операционную. В центре, под конусом яркого света, стоял аппарат — сложная конструкция из меди и стекла, оплетенная тонкими золотыми нитями. Они дрожали, ловя вибрации воздуха.

Маэстро повернулся. Его лицо было странным: совершенно лишенное морщин, оно казалось натянутым на жесткий каркас из воли и дисциплины. В его глазах не было страсти, только расчет.

— Ваше сопрано, мисс Петрова, — он не поздоровался. Его голос звучал так, словно он читал приговор. — В Петербурге говорили, оно обладает избыточной страстью. В нашей среде это называют пороком. Это... грязь в механизме. Мы её выжжем.

Он подошел вплотную. Каролина почувствовала запах канифоли и спирта. Его пальцы, длинные и сухие, легли на её горло. Холод его кожи был таким пронзительным, что Лина забыла, как дышать. Его ладонь нащупала щитовидный хрящ с пугающей точностью анатома.

— Спойте «ля» первой октавы. Но представьте, что вы не человек. Убейте в себе женщину, убейте дочь, убейте память. Представьте, что вы — серебряная игла, бесстрастно проходящая сквозь шелк. Начали.

Каролина открыла рот. На миг перед глазами вспыхнул заснеженный перрон и лицо отца, но она подавила этот образ. Она взяла ноту. Но вместо привычного тепла, разливающегося по небу, она почувствовала, как золотые нити аппарата пришли в неистовое движение. Они словно вонзились в её звук, высасывая из него жизнь, обрезая обертоны и превращая живой голос в мертвую, ледяную формулу.

Моретти улыбнулся. Это была улыбка коллекционера, заполучившего редкое насекомое. Он достал из стола крошечный серебряный камертон, инкрустированный потемневшей костью, и протянул ей на ладони.

— С этого дня вы будете спать с этим во рту. Ваша челюсть должна привыкнуть к геометрии совершенства. Мы изменим ваш прикус, Лина. Мы изменим вашу природу. Свободны.

Когда Каролина вышла в коридор, шатаясь от странной пустоты в груди, её подхватили под локоть. Это был молодой человек с добрыми, но бесконечно усталыми глазами. На его висках уже пробивалась ранняя седина.

— Он всегда забирает первый звук себе, — негромко сказал он. — Я Николас. И если вы хотите сохранить рассудок в этом доме, старайтесь не петь в одиночестве. Здесь стены имеют абсолютный слух.

Каролина вздрогнула. Имя «Лина» — так её звал только отец — в этих стенах прозвучало как запрещенная, болезненная нота.

Глава 2. Диссонанс

Николас исчез так же бесшумно, как и появился, оставив после себя лишь слабый запах типографской краски и холодного табака. Каролина осталась стоять в коридоре, глядя на свои руки. Ей казалось, что после урока с Моретти кожа на кончиках пальцев истончилась, а воздух в Лицее стал плотным, как не застывший лак на скрипке.

Здесь, в коридорах «Сан-Джузеппе», архитектура действительно «смотрела». Горгульи под потолочными сводами не просто украшали здание — они скалились, словно застывшие в камне неудачные ноты.

Комната, которую выделили Каролине, оказалась тесным пеналом, разделенным надвое невидимой, но осязаемой границей. Слева — идеальный порядок Бьянки: кровать заправлена так туго, что на ней можно было чеканить монеты, на столе — лишь стопка идеально выровненных партитур и флакон с притиранием для горла. Справа — сундук Каролины, выглядящий здесь как кусок грязного московского сугроба.

Бьянка стояла у окна, спиной к Лине. Она уже сняла свой жесткий воротник, и её шея — неестественно длинная, бледная, с отчетливо бьющейся жилкой — казалась незащищенной и пугающей одновременно.

— В этой комнате запрещены любые звуки, кроме тех, что одобрены маэстро, — не оборачиваясь, произнесла Бьянка. Её голос без поддержки академической акустики звучал сухо, как шелест пергамента. — Не смей всхлипывать по ночам. Твои слезы нарушают влажность воздуха, а это вредит моим связкам. Столовая Академии напоминала литейный цех, задрапированный в бархат. Длинные столы из белого мрамора тянулись под высокими сводами, и за каждым сидели ученики — бледные, с идеально прямой осанкой, напоминающие фарфоровые статуэтки. Здесь не было запаха домашней еды. Воздух был стерильным, с легкой примесью нашатыря и лаванды.

Каролина шла вслед за Бьянкой, стараясь не сбиться с ритма её шагов. На ней теперь была форменная блуза с таким же жестким воротником, который, казалось, врезался прямо в лимфоузлы.

Ужин проходил в абсолютной тишине. Слышно было только, как серебряные ложки касаются дна тарелок — сухой, костяной звук, от которого у Лины сводило зубы. Еда была безвкусной: протертые овощи и белковая смесь, специально разработанная Моретти. «Пища не должна отвлекать от резонанса», — гласило одно из правил на стене. Каролина смотрела в свою тарелку, чувствуя, как внутри неё пульсирует «ля» — камертон, который им разрешили вынуть только на время еды, оставил после себя фантомную тяжесть в челюсти.

На возвышении, за отдельным столом, сидел маэстро. Он не ел. Он медленно вращал в пальцах пустой бокал, наблюдая за залом. Его взгляд скользил по лицам учеников, как луч прожектора, выискивая малейший признак усталости или — что еще хуже — жизни.

Внезапно одна из девушек в конце стола не выдержала. Она выронила вилку. Звук удара металла о мрамор прозвучал как взрыв. Зал замер. Каролина увидела, как у девушки задрожали губы.

— Сбой в ритме, мисс Клер, — негромко произнес Моретти. Его голос, усиленный акустикой сводов, заполнил всё пространство. — Ваша правая рука сегодня диссонирует с общим строем. Хамфри, заберите её в малую репетиционную. Нам нужно подтянуть струны.

Девушку вывели под руки. Она не плакала — в Академии слезы считались нарушением водного баланса связок. Лина видела, как Николас, стоявший у дверей с подносом (ему, как «сломанному», не полагалось сидеть за общим столом), на мгновение закрыл глаза. Его пальцы, сжимавшие край подноса, побелели.

Бьянка, сидевшая напротив Каролины, даже не подняла головы. Она методично, с точностью швейной машинки, продолжала отправлять в рот серую массу.

— Не смотри на неё, — едва слышно прошептала она, не шевеля губами. — Клер сегодня станет просто фоном. Завтра её место займет кто-то другой. Ешь. Тебе нужны силы, чтобы выдержать ночной гул.

Путь из столовой в спальное крыло напоминал шествие теней. Ученики двигались парами, строго соблюдая дистанцию в два локтя, не касаясь друг друга и не оборачиваясь. Подошвы их мягких туфель едва слышно шуршали по пробковому покрытию, создавая звук, похожий на шелест выползающих на берег змей.

Каролина шла за Бьянкой, глядя на её идеально прямую спину. Ей казалось, что если она сейчас протянет руку и коснется лопаток соседки, то нащупает под платьем не плоть, а холодные стальные стержни.

Коридоры Академии в этот час освещались лишь редкими газовыми рожками, которые работали с едва слышным свистом. Этот свист — высокая, тонкая нота «си» — прошивал тишину насквозь. На каждом повороте, застыв как изваяние, стоял помощник Хамфри, следя за тем, чтобы строй не ломался.

Когда за ними хлопнула дверь комнаты, Бьянка не сразу зажгла свет. Несколько секунд они стояли в полной темноте. Лина слышала прерывистое дыхание соседки — оно больше не было механическим. В этой темноте Бьянка на мгновение перестала быть «жемчужиной».

— Ты видела Клер? — голос Бьянки прозвучал надтреснуто. — Она не вернется. Малая репетиционная — это не класс. Это операционная. Моретти считает, что если голос не подчиняется воле, нужно изменить анатомию. Он ставит зажимы на гортань. Навсегда.

Лина почувствовала, как по спине пробежал холод.

— Зачем? Разве можно петь через боль?

Бьянка чиркнула спичкой. Вспышка света выхватила её лицо — на нем не было страха, только сухая, выжженная ярость.

— Для Моретти боль — это просто лишняя частота, которую нужно отфильтровать. Он ищет звук, очищенный от человеческого. И он его получит. С тобой или без тебя.

Она подошла к столу и взяла свой серебряный камертон. В свете свечи прибор выглядел как орудие пытки. Бьянка посмотрела на Каролину, и в её взгляде на миг промелькнуло что-то похожее на предупреждение.

— Надела уже? — Бьянка резко повернулась. В её глазах не было сочувствия, только холодное любопытство экспериментатора. — Не медли. Если Хамфри зайдет с проверкой и увидит, что твоя челюсть расслаблена, он вставит расширитель. Поверь, серебро Моретти — это милость по сравнению с ним.

Каролина, преодолевая тошноту, вставила камертон в рот. Металл обжег язык вкусом электролиза. Челюсть застыла в неестественном зевке, превращая лицо в застывшую маску боли.

— Вот так, — Бьянка удовлетворенно кивнула и, к ужасу Лины, достала из ящика точно такой же прибор. Она привычным, почти механическим движением закрепила его у себя во рту. — Добро пожаловать в строй, «жемчужина». Теперь мы обе — просто части одного механизма.

Они легли в темноте, разделенные парой метров холодного пола. Каролина слышала, как через камертон в её кости вливается гул Академии. Но самым страшным было другое: она слышала свистящее, ритмичное дыхание Бьянки. Оно было идеально ровным, как работа часового маятника. В этой комнате больше не было двух девушек — здесь спали два инструмента, поставленных на хранение до утренней репетиции.

Сон не шел. Камертон во рту превращал каждое движение челюсти в тихий металлический скрежет, который в пустой комнате звучал как работа часового механизма. На соседней кровати Бьянка замерла в своей идеальной, пугающей неподвижности, но Лина чувствовала: та не спит, а прислушивается.

Каролина медленно, по миллиметру, сползла с кровати. Пол отозвался едва слышным вздохом пробки. Она набросила пальто прямо на сорочку — холод в коридорах был не климатическим, а каким-то минеральным, исходящим от самих камней.

Она вышла за дверь, ведомая странным физическим ощущением. Гул, который днем казался фоновым шумом, ночью обрел плоть. Академия больше не молчала. Лина чувствовала вибрацию стопами: здание гудело на низкой, почти инфразвуковой частоте, от которой внутренние органы начинали подрагивать в такт. Это был «голос» Лицея — пульсация сотен медных трубок, скрытых за матовым камнем стен. Коридоры в лунном свете, просачивающемся сквозь узкие окна, казались венами огромного спящего зверя, по которым вместо крови текла чистая звуковая волна.

Она шла, касаясь пальцами стен. В одном месте камень был ледяным, в другом — вибрировал так сильно, что кожа начинала зудеть. Лина миновала пост Хамфри — к счастью, пустой, лишь метроном на его столе методично отстукивал секунды, разрезая тишину, как гильотина.

Звук привел её в западное крыло, к заброшенной лестнице, где свет газовых рожков уже не доставал до углов. Здесь пахло не лавандой Моретти, а настоящим прошлым: пылью, плесенью и старым лаком. Гул здесь превращался в тонкий, едва различимый свист, похожий на зов.

Лина опустилась на колени под лестничным маршем. Там, в глубокой нише, черневшей в стене как незаживающая рана, что-то белело. Она протянула руку, боясь наткнуться на крысу или ловушку Хамфри, но пальцы коснулись шершавой поверхности бумаги.

Это была стопка листов, перевязанная выцветшей шелковой лентой. Когда Лина потянула её на себя, облако вековой пыли поднялось в воздух, заставив её горло сжаться в судороге. Она зажала рот ладонью, подавляя кашель, который в этой акустической камере прозвучал бы как пушечный выстрел.

Дрожащими пальцами она подняла верхний лист. В тусклом лунном свете она увидела не ноты, а рваные строчки, вгрызающиеся в бумагу. Это был дневник. Лина еще не знала имен, но «ля» первой октавы, выведенная на полях кроваво-красными чернилами, подсказала ей: она нашла голос, который Академия так и не смогла переварить.

Вернувшись в комнату, Лина не рискнула зажечь свечу. Она залезла под одеяло с головой, создав тесный, душный кокон, пахнувший пылью и её собственным горячечным дыханием. Камертон во рту мешал, он давил на корень языка, но вынуть его значило нарушить тишину, которую Бьянка караулила даже во сне.

Лина зажгла крошечный электрический фонарик — контрабандный подарок Николаса, спрятанный в подкладке пальто. Узкий луч света упал на пожелтевшую страницу.

«Они говорят, что очищают нас. Но они просто снимают с нас кожу», — первая строчка обожгла глаза. Почерк был острым, буквы наклонены так сильно, словно они пытались убежать с края листа.

«22 октября. Сегодня Моретти применил „Резонатор Б“. Это медная воронка, которую надевают на грудную клетку. Она вибрирует в противофазе к твоему сердцу. Если ты берешь фальшивую ноту, прибор бьет тебя током прямо в диафрагму. Маэстро говорит, что так рождается безупречный контроль. Я видела Николаса после процедуры. Он не мог говорить два часа. Его глаза... в них больше нет музыки. Только пепел».

Каролина невольно коснулась своих ребер. Ей показалось, что она чувствует холод этой воображаемой воронки.

«Он ищет „Золотую ноту“. Ту, что заставит хрустальную люстру в холле не просто дрожать, а рассыпаться пылью. Он верит, что звук — это первичный код материи».

Если найти верную частоту, можно менять мир. Но человеческое горло — слишком хрупкий инструмент для таких игр. Мы для него — расходный материал. Струны, которые он меняет, когда они лопаются и заливают кровью деку».

Каролина перевернула страницу и замерла. На следующем листе был схематичный рисунок их комнаты. На нем крестиком было отмечено место прямо под кроватью Бьянки. Рядом стояла приписка: *«Здесь узел. Если петь в эту точку на частоте 440 герц, здание начинает возвращать звук. Это единственный способ обмануть его ловушки. Мы называли это „Шепот мертвых“».*

Внезапно Бьянка на соседней кровати резко перевернулась. Лина мгновенно погасила фонарик и затаила дыхание. В абсолютной тишине комнаты она услышала странный звук. Это не было дыханием. Из-под кровати Бьянки доносилось едва уловимое, тонкое гудение. Словно само дерево пола помнило голос той, что спала здесь до них.

Лина перевернула страницу. В самом конце, где бумага была испещрена бурыми пятнами — то ли чая, то ли засохшей крови, — почерк внезапно стал ровным и каллиграфическим. Элеонора писала стихи так, словно чертила партитуру для ангелов-палачей.

*«Здесь небо шито нитью золотой,
И каждый вдох — в тиски зажатый стон.
Мы стали безупречной пустотой,
Мы — серебро, металл и камертон.
Маэстро ищет ноту — ту, одну,
Что разобьет зеркальный небосвод.
А мы идем безмолвно ко второму дну,
Где тишина, как лед, смыкает рот.
Не пой одна. Здесь стены пьют твой звук,
Здесь эхо жаждет крови и костей.
Но если сердце совершит свой стук —
Ты станешь частью этих новостей».*

Каролина перечитала последние строки дважды. «Ты станешь частью этих новостей» — это звучало как эпитафия. Она коснулась пальцами букв. Бумага в этом месте была неровной, словно её многократно пропитывали слезы, а потом высушивали на ледяном ветру.

Стихи не были просто лирикой. В ритме строк Лина угадала странный, синкопированный такт — тот самый, на котором Моретти заставлял их дышать во время утренних распевок. Элеонора зашифровала в стихах ритм выживания.

Вдруг Бьянка во сне резко выдохнула — звук был похож на свист выкипающего чайника. Лина замерла, прижав дневник к животу. Ей показалось, что из-под кровати соседки, из того самого «узла», на это стихотворение отозвался тонкий, едва уловимый резонанс. Словно здание узнало свои собственные чертежи.

Каролина уснула. Ей снилось, что она сама — Академия. Её ребра превратились в медные стропила, а позвоночник стал центральным стояком, по которому с грохотом неся ледяной лондонский смог. В этом сне не было лиц, только частоты. Она видела Моретти, но он не был человеком — он выглядел как гигантский паук, плетущий паутину из золотых нитей прямо внутри её гортани. Каждое его движение отдавалось в её голове ударом колокола.

Она пыталась закричать, но вместо крика из горла вылетал песок — тот самый мелкий, серый песок с дисков в холле. Он засыпал всё вокруг, заглушая звуки, превращая мир в немую пустыню. И вдруг среди этого безмолвия зазвучали те самые стихи из дневника. Голос Элеоноры был похож на тонкую трещину в стекле:

— «Не пой одна... здесь стены пьют твой звук...»

Во сне Каролина увидела «узел» под кроватью Бьянки. Он пульсировал багровым светом, как открытая рана на теле здания. Она потянулась к нему, и в этот момент здание Академии содрогнулось от дикого, нечеловеческого диссонанса.

Лина подскочила на кровати, обливаясь холодным потом. Камертон больно врезался в небо. В комнате было темно, но гул, который она слышала во сне, не исчез. Он шел снизу.

Каролина посмотрела на кровать Бьянки. Та лежала неподвижно, но её рука свесилась до самого пола, и пальцы медленно, ритмично выстукивали по паркету какой-то шифр — прямо над тем местом, где в дневнике был отмечен узел. Бьянка не спала. Она тоже была в резонансе.

Утренний колокол пробил в шесть. Его звук был коротким и сухим, лишенным всяких обертонов — Моретти не выносил лишнего шума даже в призывах к пробуждению. Каролина оделась в полумраке, чувствуя, как жесткая ткань формы натирает вчерашние синяки на шее. Бьянка двигалась рядом, как отлаженный автомат: ни одного лишнего жеста, ни одного взгляда в сторону Лины.

В столовой уже сидели «жемчужины». Утренний свет, холодный и серый, падал сквозь высокие окна, выхватывая бледные лица учеников. Перед каждым стоял одинаковый набор: чашка теплого отвара из трав, смягчающих связки, и небольшая порция безвкусной белковой каши.

— Не пей сразу, — едва слышно прошептала Бьянка, когда они сели за стол. — Сначала проверь температуру пальцем. Если отвар будет на два градуса теплее крови, Хамфри запишет тебе «термический диссонанс» и отстранит от репетиции.

Каролина посмотрела на Хамфри. Эконом медленно шел между рядами, держа в руках странный прибор — длинную серебряную иглу, соединенную с циферблатом. Он подходил к каждому ученику и касался иглой края чашки.

В столовой стояла такая тишина, что было слышно, как муха бьется о стекло где-то под потолком. Но этот звук внезапно прервался резким, захлебывающимся кашлем. Один из младших учеников, мальчик с прозрачной кожей, неловко вдохнул пар от чашки.

Весь зал замер. Ложки зависли в воздухе. Хамфри мгновенно оказался рядом с мальчиком. Он не коснулся его, но его тень накрыла стол, как саван.

— Мистер Эванс, ваше дыхание аритмично. Вы нарушили чистоту утренней тишины.

— Я... я случайно, сэр, — прохрипел мальчик, и в его голосе Каролина услышала тот самый «мусор», который Моретти обещал выжечь в ней.

— Случайность — это признак неисправного механизма, — сухо ответил Хамфри. — Сегодня вы лишаетесь завтрака. Идите в «глухую комнату». Маэстро проверит ваш резонанс через час.

Мальчик встал, пошатываясь. Когда он проходил мимо, Каролина заметила на его шее такие же красные следы от зажимов, как и у неё. Она опустила взгляд в свою чашку. Отвар пах горечью и металлом.

Каролина начала есть, стараясь подстроить ритм своих движений под мерный стук метронома, который Хамфри установил на центральном столе. Раз... два... три... глоток. Раз... два... три... тишина.

После завтрака холл Академии превратился в гулкий туннель. Ученики выстроились в колонну по двое. Мистер Хамфри шел впереди, и стук его трости по мрамору отдавался в ушах Каролины короткими электрическими разрядами. Она чувствовала записку Николаса — тонкий клочок бумаги под коленом жонглировал её спокойствием, заставляя кожу зудеть от осознания запрета.

Они миновали анфиладу залов, где стены были обтянуты черным сукном для идеального поглощения звука. Здесь воздух казался выкачанным, мертвым; Лине хотелось глубоко вздохнуть, но жесткий воротник напоминал: здесь дыхание — это ресурс, который нужно тратить экономно.

Бьянка шла рядом, её плечо почти касалось плеча Каролины. От неё пахло холодом и мятой. Внезапно Бьянка едва заметно шевельнула пальцами, указывая на медные трубки, тянущиеся вдоль потолка. Трубки мелко вибрировали, издавая едва слышный ультразвуковой свист.

— Они прогревают систему, — прошелестела Бьянка так тихо, что звук затерялся в шорохе их шагов. — Моретти сегодня будет использовать «Орган Резонанса». Если почувствуешь, что зубы начинают ныть — не закрывай рот до конца. Иначе эмаль треснет.

Каролина похолодела. Они остановились перед массивными дверями Большого репетиционного зала. Эти двери не имели ручек — они открывались гидравликой, издавая глубокий, стонущий звук, похожий на вздох великана.

Внутри зал напоминал воронку. Ряды кресел уходили круто вниз, к подиуму, где возвышался аппарат Моретти — на этот раз огромный, со множеством стеклянных трубок, заполненных ртутью. Ртуть подрагивала, реагируя на само присутствие людей.

Маэстро стоял на подиуме, окутанный серым светом. Он не смотрел на них. Он настраивал серебряную струну, натянутую через весь зал. Струна гудела, и этот гул прошивал Каролину насквозь, вытесняя из головы мысли о Москве, о матери, о дневнике.

— Займите свои места по росту частот, — раздался голос Моретти. — Сегодня мы проверим, кто из вас — чистый кристалл, а кто — лишь треснувшее стекло.

Николас стоял в тени за аппаратом. Его взгляд встретился со взглядом Лины всего на секунду. Он едва заметно кивнул, и Каролина поняла: сейчас начнется не урок. Начнется битва за её рассудок.

Каролина вцепилась в холодные перила амфитеатра. От звука, который издавал Хамфри, её собственные зубы начали мелко вибрировать в деснах. Это не было человеческим голосом — это был промышленный гул, очищенный от дыхания, от тепла, от самой жизни. Воздух в «воронке» стал тяжелым, он давил на барабанные перепонки с такой силой, что в глазах у Лины поплыли темные пятна.

— Вы видите, мисс Петрова? — Моретти не оборачивался, но его голос прорезал гул Хамфри, как скальпель — мягкую ткань. — В нем не осталось личности. Он — идеальная медная труба. Он не чувствует боли, он не чувствует радости. Он чувствует только частоту.

Хамфри продолжал тянуть ноту. Его лицо, и без того бледное, стало мертвенно-серым, а на шее вздулись вены, похожие на синие шнуры. Каролине казалось, что еще секунда — и его грудная клетка просто не выдержит, лопнет, не в силах сдерживать этот колоссальный напор звука. Но Хамфри стоял неподвижно, его пустые глаза были устремлены в одну точку над головой маэстро.

— Теперь вы, — Моретти резко оборвал аккорд.

Тишина, рухнувшая на зал, была болезненной. У Каролины заложило уши. Она видела, как Хамфри медленно, словно сломанная кукла, отступил в тень. Он даже не смахнул пот, катившийся по его лицу.

— Спускайтесь, — приказал маэстро. — Встаньте там, где стоял он. Я хочу услышать вашу «московскую страсть». Я хочу услышать, как она захлебнется в этой акустике.

Лина начала спускаться по крутым ступеням. Каждый шаг отдавался в её теле эхом. Она чувствовала на себе взгляды других учеников, застывших в амфитеатре. Они смотрели на неё не с сочувствием, а с холодным любопытством: выдержит ли новый инструмент нагрузку или сломается на первом же такте?

Внизу, рядом с Моретти, запах озона и полированного дерева стал невыносимым. Рояль действительно напоминал спину дельфина — черный, гладкий, готовый уйти на глубину вместе с её голосом.

— Начните с «ре» второй октавы, — тихо произнес Моретти, и его пальцы коснулись клавиш. — Но помните: если я услышу в вашем голосе хотя бы тень вашего отца или вашей

матери... если я услышу там человеческую жалость... Хамфри включит резонаторы. И тогда вы узнаете, что такое вертикальный звук на самом деле.

Николас в тени за аппаратом сжал кулаки так, что побелели костяшки. Каролина открыла рот. Она знала: если она сейчас споет так, как учил отец, она погибнет. Но если она споет так, как хочет Моретти, она перестанет быть Каролиной.

Каролина стояла, согнувшись, и видела только носки своих запыленных туфель и черные лакированные ножки рояля. Вкус крови был не таким, как в детстве, когда она разбивала коленки. Это был вкус глубокого, внутреннего разрыва — так пахнет перегретый металл перед тем, как лопнуть.

— Встаньте прямо, мисс Петрова, — голос Моретти доносился как будто сквозь слой ваты. — Боль — это всего лишь сигнал о том, что ваше тело пытается удержать то, что ему больше не принадлежит. Вы защищаете свои связки так, будто это фамильное серебро. Но в этой Академии вы — не владелица. Вы — арендатор.

Лина подняла голову. Её горло горело, словно в него залили расплавленный свинец. Она попыталась что-то сказать, извиниться или попросить воды, но из губ вылетел лишь сухой, шелестящий звук, похожий на треск старой бумаги.

Хамфри, всё еще сидящий у стены, поднял на неё глаза. В его взгляде не было жалости. В нем было странное, узнаваемое родство — так смотрят друг на друга каторжники, скованные одной цепью. Он знал, что сейчас чувствует её гортань. Он знал, как звучит эта внутренняя тишина, когда музыка превращается в увечье.

Моретти перестал играть и медленно встал, оправляя манжеты. В наступившей тишине звук его шагов по паркету «Воронки» казался оглушительным.

— Слабо... — произнес он с интонацией настройщика, наткнувшегося на гнилую струну. — Ваша гортань еще слишком «человеческая». Она сопротивляется истине, цепляясь за старые привычки.

Каролина пыталась вдохнуть, но каждый глоток воздуха отдавался в горле колючей проволокой. Она прижала ладони к шее, словно пытаясь удержать остатки своего голоса.

— Хамфри, — маэстро даже не посмотрел в сторону своего помощника. — Отведите её в комнату. Она бесполезна для репетиции в таком состоянии. Пусть тишина и масло канифоли сделают то, на что не хватило воли.

Хамфри, всё еще сидевший у стены с застывшим взглядом, мгновенно поднялся. В его движениях не было ни усталости после собственного «вертикального звука», ни тени сочувствия. Он подошел к Каролине и мертвой хваткой взял её под локоть. Его пальцы были сухими и жесткими, как деревянные зажимы.

— Идите, мисс Петрова, — скомандовал он.

Он вел её вверх по крутым ступеням амфитеатра, почти волоча за собой. Каролина спотыкалась, её зрение застилал туман, а в ушах всё еще стоял тот ядовитый диссонанс, которым Моретти ударил по её связкам. Ученики, застывшие в тени рядов, провожали её взглядами, в которых читался лишь один вопрос: станет ли она следующей «сломанной» деталью или это лишь временный сбой?

Они шли по бесконечным коридорам, где газовые рожки свистели свою бесконечную «си». Хамфри не произнес ни слова. Он чеканил шаг — сто тридцать ударов в минуту, — заставляя Каролину подстраиваться под этот беспощадный ритм, несмотря на то, что её ноги подкашивались.

У двери комнаты он остановился и резко открыл замок.

— Входите. До завтрашнего утра вы — тишина. Если я услышу из-за двери хотя бы попытку проверить голос, маэстро сочтет это актом саботажа.

Он дождался, пока она переступит порог, и закрыл дверь. Щелчок замка прозвучал в голове Каролины как финальная нота в её проваленной партии. Она осталась одна в темноте, с горящим горлом и привкусом поражения на языке.

В комнате было темно, но эта темнота не давала покоя — она была наэлектризована гулом, который Академия впитывала за день и теперь медленно выдыхала в спящих. Бьянка уже лежала в постели; её дыхание было ровным и механическим, как ход маятника, отсчитывающего секунды чужой жизни. Каролина опустилась на свою кровать, не зажигая свечи. Ей казалось, что малейшее движение, малейший проблеск света может спровоцировать новый приступ боли в растерзанном горле.

«Тишина — это не отсутствие звука, — думала она, глядя в серый квадрат окна, за которым лондонский смог подьедал очертания соседних крыш. — Тишина в этих стенах — это хищник. Она ждет, пока ты ослабнешь, чтобы заполнить тебя своей пустотой».

Ей казалось, что её гортань теперь — пустой заброшенный дом с выбитыми окнами, в которых гуляет сквозняк. Там, где раньше жил звук, способный вызвать слезы у петербургских дам, теперь зияла черная воронка. Она вспомнила слова отца о «храмах из звука», которые он строил в своем воображении, настраивая рояли. Если Академия была храмом, то сегодня её принесли в жертву на его алтаре. И самое страшное было не в боли, а в том, что где-то в глубине души, под слоями ужаса, она почувствовала странное, извращенное облегчение. Ей больше не нужно было нести бремя «талантливой Лины», не нужно было соответствовать ожиданиям больного отца. Теперь она была просто материалом. Глиной в руках препаратора. Сломанной шестерней, которую больше не заставляют вращаться.

Она прикоснулась к шее. Кожа под пальцами была горячей, воспаленной, а пульсация казалась чужеродной, словно под кожей ворочалось что-то живое и злое. Каролина попробовала выдохнуть одну-единственную ноту, самую тихую, «пианиссимо», которую она когда-то выводила в залитой солнцем московской зале. Но гортань отозвалась сухим, мертвым хрипом, от которого в глазах снова потемнело. Приказ Моретти — молчать — стал физической клеткой, прутьями которой были её собственные поврежденные связки.

В какой-то момент ей почудилось, что из-за стены, из соседней пустой комнаты, донеслось слабое царапанье. Это не было похоже на звук живого существа. Словно кто-то пытался пропеть её имя, не используя связок — одними лишь зубами и костями, выстукивая ритм по камню. «*Ли-на... Ли-на...*» — шептали стены.

Она легла поверх одеяла, не раздеваясь, чувствуя, как холод пробирается сквозь тонкую ткань формы. Гул Хамфри — тот страшный «вертикальный звук» — всё еще вибрировал в её костях, перенастраивая её тело под какой-то новый, чудовищный лад. Где-то в темноте коридора скрипнула половица, отозвавшись в голове Каролины металлическим звоном. Академия дышала. Она переваривала её медленно, со вкусом, как и всех остальных до неё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.